

СЕВЕРНЫЕ СУМЕРКИ



Милана Панова

Северные сумерки

«Автор»

2026

Панова М.

Северные сумерки / М. Панова — «Автор», 2026

Для тех, кто вырос на "Сумерках" и вампирских сагах нулевых и до сих пор скучает по тому туману. Вера Зорина приезжает в карельский городок Ольховск на три месяца. Ей предстоит отреставрировать фрески в заброшенной церкви на острове. Впереди тихая работа, полярная ночь и озеро, которое не замерзает даже в январе. Лучшего места, чтобы спрятаться от собственной жизни, не придумать. Но под слоем старой побелки Вера находит лицо. Ему триста лет, и накануне она видела его у причала. Ян Северин оплачивает реставрацию, не отбрасывает тени на снег и просит её только об одном: не торопиться. Вера не знает, что её семья веками охотилась на таких, как он. Не знает, что в Ольховск её отправили не случайно. Не знает, что каждая открытая фреска приближает чей-то конец. И что подо льдом кто-то уже зовёт её по имени. Он ждал её триста лет. Её растили, чтобы его отпустить. Атмосферная готическая история о запретной любви, северном мраке и выборе, который нельзя закрасить.

© Панова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. 1724	5
Часть первая. Побелка	8
Глава 1. Остров	8
Глава 2. Лицо под побелкой	12
Глава 3. Человек у причала	16
Глава 4. Дом за озером	20
Глава 5. Без тени	24
Глава 6. Бабушкины письма	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Милана Панова

Северные сумерки

Пролог. 1724

В ту зиму озеро не замёрзло.

Старики говорили, что такого не помнят ни они, ни их деды. Лёд схватывал берега, полз к середине тонкой серой коркой и останавливался, будто натёкался на невидимую стену. Посреди озера, вокруг острова с недостроенной церковью, вода оставалась чёрной и гладкой. Над ней всю ночь стоял пар, словно под водой кто-то дышал.

Маремьяна Зорина стояла на берегу и смотрела на этот пар. Под тулупом у неё был нож, за пазухой — свёрток с солью и полыньёй, а в горле застыл ком, который не проглатывался уже третий день.

— Не ходи, — сказал за спиной отец.

Она не обернулась.

— Он ещё живой, батюшка.

— Его там нет. Там только то, что его носит.

Отец был ловчим, как и его отец, и все Зорины до них. Он знал, о чём говорит. Маремьяна видела, как он однажды сжёг в бане то, что пришло к соседям под видом вернувшегося с войны сына. Она помнила, как оно кричало голосом того сына, пока горело. Отец тогда не отвёл глаз, а она отвела. Он сказал, что это пройдёт.

Не прошло.

— Я обещала ему, — сказала она. — На Покров. Перед образом.

— Ты обещала человеку.

Маремьяна наконец повернулась. Отец стоял у саней, грузный, седой, с пищалью на плече. Факел в его руке трещал и плевался искрами. Свет делал лицо отца чужим, будто вырезанным из старого дерева.

— Если там то, что ты говоришь, — сказала она, — тогда помоги мне его отпустить. Ты же умеешь.

Он долго молчал. Потом снял с пояса кожаный мешочек и протянул ей.

— Гвозди из гробовой доски, — сказал он. — Освящённые. Если он подойдёт к тебе ближе, чем на три шага, и ты увидишь, что глаза у него как у рыбы, белые, — бей сюда. — Он коснулся пальцем ямки у основания своей шеи. — Не жди, пока он заговорит. Слышишь? Если заговорит, ты не сможешь.

— А если не белые?

Отец не ответил.

Она взяла мешочек и пошла по льду.

Лёд держал. Он стонал под ногами, где-то в глубине перекачивался гул, похожий на далёкий колокольный звон, но держал. Маремьяна шла по следу, оставленному днём: две полосы от саней и отпечатки сапог. Днём здесь прошли люди Северина-старшего. Они везли на остров что-то длинное, завернутое в рогожу. Говорили, что это иконы для иконостаса. В деревне говорили другое.

До чёрной воды оставалось шагов двадцать, когда она увидела лодку.

Она стояла у самой кромки льда, привязанная к вбитому колу. Обычная долблёнка, в каких летом ходят на рыбу. Вёсла лежали внутри, аккуратно, крест-накрест.

Её ждали.

Маремьяна села в лодку, оттолкнулась от льда и взялась за вёсла. Пар обнял её сразу, тёплый, пахнувший железом и ладаном. Берег пропал. Пропал факел отца. Осталась только чёрная вода, скрип уключин и собственное дыхание.

Остров выплыл из тумана внезапно, будто кто-то поставил его перед лодкой. Церковь на нём была тёмной, недостроенной, с пустой звонницей. Только в одном окне горел свет, жёлтый и неровный, как от свечи.

Она вытащила лодку на камни и поднялась к паперти.

Дверь была открыта.

Внутри пахло известью и свежей краской. Вдоль стен стояли леса. На них лежали кисти, горшки с пигментами, лоскуты. Стены были наполовину расписаны. Маремьяна увидела святых с тёмными узкими лицами, ангелов с крыльями, похожими на рыбью чешую, и огненную реку, текущую по западной стене вниз, к полу.

Он стоял у алтарной стены спиной к ней и писал.

— Ян, — сказала она.

Кисть замерла.

Он обернулся медленно, как оборачиваются во сне. Маремьяна увидела его лицо и забыла, что нужно дышать. Это было его лицо: высокие скулы, упрямый рот, тёмные волосы, которые он всегда отбрасывал со лба. Ни раны, ни следа той ночи, когда его вытащили из проруби синим и неподвижным. Он был даже красивее, чем при жизни. Только кожа стала белой, как побелка на стене за его спиной.

Она посмотрела ему в глаза.

Они были не белые. Серые, как раньше. Человеческие.

— Тебе нельзя здесь быть, — сказал он.

Голос тоже был его. Маремьяна сжала в кармане мешочек с гвоздями так, что острия впились в ладонь.

— Отец сказал, что тебя больше нет.

— Твой отец прав.

— Тогда кто со мной говорит?

Ян опустил кисть. На его пальцах была краска, красная, как киноварь. Или не краска.

— Не знаю, — тихо сказал он. — Я каждую ночь пытаюсь это понять.

Она сделала шаг вперёд. Потом ещё один. Между ними было уже не три шага, а два. Он не двигался.

— Уходи, Маремьяна, — сказал он. — Пожалуйста. Я держусь, пока ты далеко. Я не знаю, что будет, если ты подойдёшь.

— Что они с тобой сделали?

— Отец, — ответил он. — Он не хотел меня отпускать. Он нашёл кого-то, кто знал, как удержать. И теперь я не могу уйти. Ни туда, — он кивнул на небо за тёмным окном, — ни отсюда. Пока эти стены стоят и пока на них то, что я пишу.

Она посмотрела на алтарную стену. Там, среди золота и киновари, было изображено лицо. Женское. Её собственное.

— Зачем?

— Чтобы помнить, — сказал Ян. — Мне кажется, я забываю. Каждую ночь понемногу. Если я забуду тебя, от меня ничего не останется. Тогда твой отец окажется прав окончательно.

Маремьяна вытащила руку из кармана. В ладони был зажат гвоздь. Она смотрела на него, на тёмную каплю собственной крови на острие, и понимала, что Ян тоже на неё смотрит. Его ноздри дрогнули. В серых глазах на миг что-то сдвинулось, как тень под водой.

Он отступил к стене.

— Уходи, — повторил он, и это была уже не просьба.

Снаружи раздался звук, глухой удар, будто на лёд упало что-то тяжёлое. Потом крики. Мужские голоса. Треск факелов.

Маремьяна выбежала на паперть. По льду к острову шли люди, человек десять с огнём. Впереди шёл отец. Чёрная вода вокруг острова больше не дымилась. Её затащило льдом, свежим и прозрачным, будто его кто-то заморозил за одну минуту.

— Они пришли за мной, — сказал Ян за её спиной. Он стоял в дверях, но не выходил наружу, словно порог был для него стеной. — Значит, так тому и быть.

— Нет.

Она сама не поняла, как сказала это. Повернулась к нему, посмотрела на его белое лицо, на краску на его пальцах, и сказала ещё раз:

— Нет. Я не дам.

Отец добрался до острова первым. Увидел её на паперти, увидел Яна в дверях. Поднял пицаль.

Маремьяна встала между ними.

Что было дальше, в деревне потом рассказывали по-разному. Одни говорили, что ловчий выстрелил и не попал. Другие — что он опустил оружие, потому что дочь держала у собственного горла гвоздь из гробовой доски. Третьи — что ночью к острову приехал на санях старый Северин и до рассвета говорил с ловчим в недостроенной церкви, а о чём, не знает никто.

Достоверно известно только одно. Утром церковь заперли, роспись не закончили, а Зорины и Северины заключили договор. Его не записали ни в одной книге. Одна семья не трогает другую, пока стоит остров, пока под побелкой спят лица. Пока кто-нибудь из Зориных не придёт и не откроет их.

Маремьяна Зорина через год вышла замуж за купца из Петрозаводска и уехала. Говорят, детям она никогда не рассказывала про ту зиму. Говорят, она до самой смерти не подходила к воде по ночам и никогда не смотрела в неё долго.

А озеро на следующую зиму замёрзло как обычно.

Всё до последней полыньи.

Часть первая. Побелка

Глава 1. Остров

Автобус из Петрозаводска шёл четыре часа, и три из них за окном не менялось ничего.

Лес. Снова лес. Обочина, засыпанная первым снегом, который ещё не решил, остаться ему или растаять. Иногда лес расступался, и тогда появлялось озеро, серое и плоское, как жестяной поднос. Над ним висело такое же небо. Потом лес смыкался опять.

Я сидела у окна, прижав к себе папку с документами о практике, и пыталась не думать. Это у меня получалось плохо. Последние два месяца вообще плохо получались все вещи, которые раньше давались легко: спать, есть, отвечать на сообщения, не плакать в метро.

На соседнем сиденье стоял этюдник. Кроме него, со мной ехали рюкзак, чемодан на колёсиках, у которого одно колесо уже отваливалось, и коробка с реставрационными инструментами. Скальпели, кисти, шприцы для инъекций, японская бумага, рулон микалентной. Всё, что нужно человеку, чтобы три месяца снимать побелку с чужих святых.

Телефон завибрировал. Бабушка.

«Доехала?»

«Ещё нет. Час остался».

«Как приедешь — сразу позвони. Сразу, Вера».

Я убрала телефон, не ответив. Бабушка Агния звонила мне последние две недели каждый день, иногда по два раза. Сначала уговаривала не ехать. Потом, когда стало ясно, что я поеду, сменила тактику и стала требовать отчётов. Где ты, что ты, с кем ты. Как будто я ехала не на практику в Карелию, а на войну.

Самое смешное, что практику мне нашла именно она.

«Есть знакомые в музее-заповеднике, — сказала она в сентябре, когда я сидела у неё на кухне на Васильевском и ковыряла вилкой холодную картошку. — Там церковь на острове, восемнадцатый век. Роспись под побелкой, никто толком не смотрел. Им нужен реставратор на зиму. Поедешь?»

Я тогда сказала «да», даже не дослушав. Мне было всё равно куда. Главное — подальше от Питера, от общежития, от квартиры на Петроградке, где мы с Костей прожили полтора года и откуда я съехала за одну ночь, не взяв даже любимую кружку.

В декабре мне исполнится двадцать. Для реставратора это ничто. Для человека, который только что понял, что полтора года любил того, кого не существовало, это вечность.

— Ольховск! — крикнул водитель. — Кто до Ольховска, конечная!

Я вздрогнула и посмотрела в окно.

Ольховск оказался одной длинной улицей вдоль берега, разделённой надвое площадью с памятником неизвестно кому. На площади стояли магазин «Продукты», магазин «Хозтовары» и двухэтажное здание администрации с флагом, который безжизненно висел в сыром воздухе. От улицы вверх, к лесу, уходили переулки с деревянными домами. Дома были тёмные, с резными наличниками, некоторые выкрашены в синий и зелёный, но краска облупилась, и сквозь неё проступало серое, мёртвое дерево.

А за домами было озеро.

Я увидела его, когда вытащила чемодан из автобуса и выпрямилась. Озеро было огромным, гораздо больше, чем казалось из окна. Противоположный берег терялся в дымке. Ближе к середине из воды поднимался остров. Тёмная полоса елей, валуны и над ними силуэт церкви: шатровая крыша, маленькая главка без креста, колокольня, похожая на сломанный палец.

Над островом стоял туман.

Не над всем озером, только над островом. Он поднимался от воды тонкой белой пеленой и висел вокруг церкви, как дыхание в морозный день. Остальное озеро было чистым, серым, неподвижным.

— Красиво, да?

Я обернулась. Рядом стоял парень лет двадцати пяти в пуховике защитного цвета и вязаной шапке. Широкое лицо, светлая щетина, нос, явно когда-то сломанный. В руке у него был лист бумаги, на котором фломастером было написано «ЗОРИНА В.».

— Вы Вера? — спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул руку. — Глеб. Глеб Корзун, музей-заповедник. Я ваш куратор, вроде как. Добро пожаловать в Ольховск, город без вайфая.

— Прямо совсем без? — спросила я, пожимая руку. Ладонь у него была горячая и шершавая.

— Ну, в администрации есть. И в библиотеке, если библиотекарьша в настроении. А так — мобильный интернет на холме у кладбища. Местная молодёжь там тусуется по вечерам, очень романтично. — Он взял у меня чемодан, заметил отваливающееся колесо и хмыкнул. — Понятно. Давайте я донесу. Тут недалеко.

Мы пошли по улице. Глеб шагал широко, тащил чемодан так, будто тот ничего не весил, и рассказывал. Я узнала, что в Ольховске живут восемьсот человек, зимой меньше, потому что дачники разъезжаются. Что работает лесопилка, школа и почта. Что музей-заповедник — это громко сказано: две комнаты в бывшей купеческой усадьбе, экспозиция «Быт карельской деревни» и три сотрудника, одним из которых является сам Глеб.

— А церковь? — спросила я.

— А церковь — это наша гордость и наша боль, — сказал Глеб. — Восемнадцатый век, деревянная, шатровая. Памятник федерального значения, между прочим. Сто лет ею никто не занимался. При советской власти там был склад, потом ничего. Роспись внутри побелили ещё в тридцатые. Местные говорят — специально.

— Зачем?

Он пожал плечами.

— Местные много чего говорят. Здесь любят страшилки. Будете слушать бабок у магазина — через неделю начнёте спать с чесноком под подушкой.

— Какие страшилки?

— Да обычные. — Он махнул рукой в сторону озера. — Что остров проклят, что там по ночам огни, что озеро не замерзает, потому что под ним что-то есть. Что кто туда ходит, тот потом плохо кончает.

— А озеро правда не замерзает?

Глеб помолчал.

— Вокруг острова — правда, — сказал он наконец. — Метров на пятьдесят. Тёплые ключи бьют со дна, там геологи в восьмидесятых что-то мерили. Так что добираться будем на лодке, пока можно, а потом по льду до полыньи и опять на лодке. Не переживайте, я вас переправлять буду. Каждое утро, как штык.

— А кто-нибудь ещё со мной работать будет?

— Нет. Только вы. — Он покосился на меня. — Вас разве не предупредили? Денег хватило на одного реставратора. Скажите спасибо Северину.

— Кому?

— Северин, — повторил Глеб. — Ян Северин. Местный меценат. Это он оплачивает реставрацию. Купил старую усадьбу за озером года три назад, всё там отремонтировал. Живёт с семьёй. Станные люди, если честно. — Он остановился у калитки, за которой стоял синий одноэтажный дом с белыми наличниками. — Вот, пришли. Это ваш дом. Ну, не ваш, музейный, но жить будете тут.

Дом пах печкой, старыми газетами и сушёными травами. В нём была одна большая комната с русской печью, кухня, крохотная спальня с кроватью, накрытой лоскутным одеялом, и окно, выходящее прямо на озеро. Остров отсюда был виден целиком. Туман вокруг него стал гуще.

— Печку топить умеете? — спросил Глеб.

— Нет.

— Научу. Дрова в сарае, вода в колонке на углу, туалет... ну, вы сами найдёте. — Он поставил чемодан у кровати и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, открытая, от неё вокруг глаз собирались морщинки. — Отдыхайте сегодня. Завтра в восемь заеду, поплывём смотреть ваш фронт работ.

— В восемь же ещё темно.

— В восемь уже не очень темно. Вот в декабре будет темно. — Он задержался в дверях. — Вера.

— Да?

— Если вдруг что-то понадобится — я живу через три дома, зелёный такой, с собакой во дворе. Стучите в любое время.

Он ушёл. Я осталась одна.

Сначала я позвонила бабушке. Она ответила после первого гудка, будто держала телефон в руке.

— Доехала?

— Доехала. Всё хорошо. Меня встретили, поселили. Дом нормальный, печка есть.

— Кто встретил?

— Куратор из музея. Глеб какой-то. Корзун.

Пауза. Странная, длинная пауза. Я слышала, как на том конце бабушка дышит.

— Корзун, — повторила она каким-то не своим голосом. — Ну хорошо. Хорошо, что встретил.

— Ты его знаешь?

— Фамилию слышала. — Снова пауза. — Вера, ты на острове ещё не была?

— Завтра поеду.

— Когда будешь там... — Она замолчала. Я ждала. — Работай аккуратно. Не торопись. И звони мне каждый вечер. Ты слышишь? Каждый вечер. Расскажешь, что открыла.

— Ба, это же не детектив. Я буду снимать побелку по сантиметру в день. Тебе будет скучно.

— Мне не будет скучно, — сказала бабушка. — Мне будет спокойно.

После разговора я долго сидела на кровати и смотрела в окно. Стемнело быстро, в половине пятого. Озеро превратилось в чёрное зеркало, а остров — в силуэт, вырезанный из тёмной бумаги. Туман над ним теперь был виден только потому, что слегка светился, бледно, как гнилушка в лесу.

А потом в церкви зажёгся свет.

Я моргнула. Свет не исчез. Маленькая жёлтая точка в одном из окон под шатром, неровная, дрожащая, как от свечи.

На острове никого не было. Не могло быть. Глеб сказал, что ключи от церкви только у него и у директора музея, а директор уехала в Петрозаводск на неделю. Лодку, на которой туда добираются, я видела, когда мы шли сюда: она лежала вверх дном у причала, засыпанная снегом.

Я смотрела на свет минуту, две, пять. Потом взяла телефон и попыталась сфотографировать. Камера показала только черноту и размытое пятно. Когда я опустила телефон, свет погас.

Я сказала себе, что это отражение. Фонарь с берега, луна в стекле, что угодно. Я реставратор, я человек, который пять лет учился отличать оригинальный красочный слой от поздних записей. Я верю в химию, рентген и ультрафиолет. Я не верю в огни на проклятых островах.

Я затопила печь. Глеб показал, но у меня всё равно получилось только с третьего раза, и половина дыма пошла в комнату. Я открыла окно, чтобы проветрить, и холод хлынул внутрь, сырой, пахнувший водой и снегом.

И ещё чем-то. Я не сразу поняла чем. Потом поняла: ладаном.

Я закрыла окно. Легла, не раздеваясь, под лоскутное одеяло и долго лежала с открытыми глазами, слушая, как трещат дрова и как где-то далеко, на воде, что-то тихо и мерно поскрипывает. Как уключины лодки.

Уснула я под утро. Мне снилась женщина в тулупе, которая шла по льду к чёрной воде и не оборачивалась, хотя я звала её по имени. Имя я во сне знала, а проснувшись, забыла.

Помнила только, что оно было старое. И что у женщины было моё лицо.

Глава 2. Лицо под побелкой

Глеб приехал без десяти восемь. Я услышала, как у калитки залаяла чужая собака, потом его голос: «Тихо, Буран, свои». Я вышла на крыльцо с кружкой растворимого кофе. За калиткой стоял Глеб, а рядом с ним — огромный лохматый пёс неопределённой породы, серый, с белой грудью и умными жёлтыми глазами.

— Он с нами поедет? — спросила я.

— Он везде со мной ездит, — сказал Глеб. — Не бойтесь, он добрый. Просто большой.

Буран подошёл ко мне, обнюхал руку, потом вдруг напрягся, поднял морду и уставился в сторону озера. Шерсть на загривке встала дыбом. Из горла вырвался низкий, вибрирующий рык.

— Буран, — резко сказал Глеб. — Фу.

Пёс замолчал, но продолжал смотреть на остров.

— Он всегда так, — сказал Глеб, немного смутившись. — Не любит воду. Пойдёмте, пока ветра нет.

Лодку уже перевернули и спустили на воду. Это была старая алюминиевая «казанка» с мотором, который Глеб завёл с пятого рывка, ругаясь сквозь зубы. Я устроилась на носу со своей коробкой инструментов на коленях. Буран улёгся на дне лодки, положив морду мне на ботинок.

Озеро было тихим. Над водой стелилась лёгкая дымка, и солнце, которое только начало подниматься над лесом, окрашивало её в розовый. Чем ближе мы подплывали к острову, тем теплее становился воздух. Я сняла перчатки. Потом расстегнула куртку.

— Ключи, — сказал Глеб, заметив моё удивление. — Вода здесь градусов восемь даже в январе. Поэтому и туман.

Остров вблизи оказался больше, чем казался с берега. Валуны, покрытые мхом, кривые сосны, тропинка, поднимающаяся от деревянных мостков к церкви. Сама церковь была выше, чем я думала. Тёмные потрескавшиеся брёвна, шатёр, покрытый лемехом, который местами осыпался, как чешуя с больной рыбы. Над входом висела доска с выцветшей надписью «Памятник архитектуры. Охраняется государством».

Глеб открыл огромный навесной замок. Дверь подалась со скрипом.

И я забыла обо всём.

Внутри было светло: солнце било в окна под шатром и рассыпалось на сотни пятен по полу. Пахло пылью, деревом и почему-то воском, хотя свечей тут не зажигали лет сто. Стены, своды, столбы — всё было покрыто ровным слоем побелки, местами отслоившимся, местами пожелтевшим от сырости. И сквозь эту побелку, как сквозь молоко, проступали очертания.

Фигуры. Нимбы. Крылья. Складки одежд.

— Господи, — сказала я.

— Да, — сказал Глеб. — Я тоже так сказал, когда первый раз увидел.

Я прошла вдоль северной стены, трогая её кончиками пальцев. Побелка была тонкой, двух-трёхслойной, на известковой основе. Под ней чувствовался красочный слой: плотный, гладкий, не осыпающийся. Это было чудо. Деревянные храмы восемнадцатого века обычно расписывали на холстах, наклеенных на брёвна. Здесь же, судя по всему, писали прямо по штукатурке, нанесённой на дранку, — почти фресковая техника, невероятно редкая для севера. И она сохранилась. Сто лет под побелкой, в сыром нетопленном храме, и она сохранилась.

— Кто это писал? — спросила я.

— Неизвестно. Документов нет. В архиве епархии есть упоминание, что церковь освящена в 1726 году, а кто расписывал — ничего. Местные говорят, что сын купца Северина. Того, который строил церковь.

Я обернулась.

— Северина?

— Ну да. — Глеб усмехнулся. — Совпадение, наверное. Фамилия-то не редкая. Хотя наш Ян Северин говорит, что он из тех самых. Дальний потомок. Может, поэтому и денег дал.

Я кивнула и вернулась к стене. Под пальцами побелка была холодной и шершавой.

Весь день я делала то, что делают реставраторы в первый день: смотрела. Фотографировала каждый сантиметр, составляла картограмму сохранности, отмечала вздутия, трещины, участки, где побелка отошла сама. Глеб помог мне собрать леса вдоль северной стены — их привезли ещё летом и сложили штабелем в притворе. Потом он уплыл на берег по делам, обещав вернуться в три. Буран остался со мной. Он лёг у двери, положил голову на лапы и, казалось, задремал. Но каждый раз, когда я поворачивалась к алтарной стене, пёс открывал глаза и следил за мной.

Алтарная стена меня беспокоила.

Во-первых, побелка на ней была гораздо толще, чем везде. Не два слоя, а пять или шесть. Будто кто-то белил её снова и снова, раз за разом, годами.

Во-вторых, она была холодной. Не просто холодной, как всё здание. Ледяной. Я приложила ладонь и тут же отдернула: ощущение было такое, будто трогаешь металл на морозе.

В-третьих, сквозь эту толстую побелку не проступало ничего. Ни контура, ни тени. Только белое.

К двум часам я решила сделать первую пробную расчистку. Не на алтарной стене — туда я пока не собиралась, — а на северной, в нижнем регистре, где побелка отслаивалась сама. Обычная процедура: маленькое окошко, пять на пять сантиметров, чтобы понять, что под слоями и как они держатся.

Я размочила побелку, подождала, взяла скальпель.

Первый слой снялся легко, второй — тоже. Под третьим что-то блеснуло. Золото. Тонкая линия, как край нимба. Я замерла, задержала дыхание и сдвинула скальпель ещё на миллиметр.

Из-под побелки на меня посмотрел глаз.

Серый. Человеческий. Написанный так живо, что у меня по спине пробежал холод. Тонкие ресницы, тень от брови, крохотный блик в зрачке. Не иконописная условность, не святой с удлинёнными глазами на тёмном лице. Настоящий глаз настоящего человека, будто художник писал его с натуры.

Я отступила на шаг и чуть не упала с лесов.

Буран у двери вскочил и залаял, громко, отрывисто, в пустоту.

— Тихо, — сказала я ему, и мой голос прозвучал жалко. — Тихо, это просто краска.

Пёс замолчал, но не лёг. Он стоял, напрягив лапы, и смотрел не на меня, а на окно. Я посмотрела туда же. За окном было озеро, туман и ничего больше.

Я вернулась к стене.

Полтора часа я работала как во сне. Расширила окошко до размеров ладони. Потом ещё. Это было нарушение всех правил — пробная расчистка не должна превышать нескольких квадратных сантиметров, пока не изучены материалы. Но я не могла остановиться. Под скальпелем проступало лицо, и я должна была увидеть его целиком.

Оно появлялось постепенно. Высокий чистый лоб. Тёмные волосы, падающие на висок. Прямой нос с чуть заметной горбинкой. Скулы, резкие, как у человека, который давно не ел досыта. Рот, сжатый так, будто он только что хотел что-то сказать и передумал.

Это не был святой. Ни нимба, ни свитка, ни благословляющей руки. Просто лицо молодого мужчины, лет двадцати, написанное в углу между двумя ангелами, будто художник спрятал его туда. Будто это был его собственный портрет.

На уровне подбородка, мелкими буквами, вязью, была надпись. Я наклонилась ближе и разобрала только два слова: «...писа рабъ Божій...» Дальше было стёрто.

В три часа за мной приплыл Глеб.

Я слышала, как застучал мотор, как он привязал лодку и поднялся по тропинке. Слышала, как он вошёл и как остановился в дверях.

— Вера, — сказал он. — Вы что сделали?

Я обернулась. Наверное, у меня был странный вид: волосы выбились из-под косынки, руки в побелке, глаза, как потом сказал Глеб, «как у человека, который увидел привидение».

— Посмотрите, — сказала я.

Он подошёл, поднялся на леса, встал рядом. Долго смотрел. Я ждала, что он скажет что-нибудь вроде «вот это да» или «ну вы даёте, это же нарушение методики». Но он молчал. А когда я посмотрела на него, увидела, что он побледнел.

— Глеб?

— Ничего, — сказал он. Голос был хриплый. — Просто... очень живое. Вы не находите, что слишком живое?

— Это гениальная живопись, — сказала я. — Восемнадцатый век. Северная провинция. Так никто не писал, Глеб. Это сенсация. Это...

— Это надо закрыть, — сказал он.

— Что?

— Закройте. Микалентной, чем угодно. — Он отвернулся от стены. — На ночь. Чтобы... сырость не попала.

Это было разумно. Только смотрел он при этом не на меня и не на стену, а на окно, точно так же, как Буран.

Я заклеила расчистку японской бумагой. Мы собрали инструменты. Глеб запер дверь, проверил замок дважды и пошёл к лодке, не оборачиваясь. Буран прыгнул в лодку первым и забился под скамейку.

На середине озера я всё-таки обернулась.

Туман над островом стал гуще и как будто плотнее. Солнце уже садилось, хотя не было ещё и четырёх, и церковь превратилась в тёмный силуэт на алом небе. Одно окно под шатром, то самое, где вчера горел свет, было тёмным.

Но мне показалось, что за ним кто-то стоит.

Вечером я позвонила бабушке.

— Ну? — спросила она. — Что там?

— Сохранность фантастическая, — сказала я. — Роспись почти фресковая, по штукатурке. Я сделала пробную расчистку на северной стене. Ба, там портрет. Мужской. Не святой, а просто человек. Возможно, автопортрет художника. Я такого никогда не видела.

Тишина.

— Ба?

— Какой он? — спросила она очень тихо.

— Молодой. Тёмные волосы. Серые глаза.

Тишина длилась так долго, что я решила, что связь оборвалась. Потом бабушка сказала:

— Вера. Ты алтарную стену не трогала?

Я замерла с телефоном у уха.

— Откуда ты знаешь, что там особенная алтарная стена?

— Не трогала? — повторила она, и голос её стал жёстким, таким, каким я его никогда не слышала.

— Нет. Там побелка толстая, я пока...

— И не трогай. Пока я не скажу. Ты меня поняла?

— Ба, что происходит?

— Ничего не происходит. Ложись спать. Завтра позвони.

Она положила трубку.

Я сидела в темноте, у печки, и смотрела на телефон. Потом открыла галерею и нашла фотографию, которую сделала перед тем, как заклеить расчистку. Серый глаз смотрел на меня с экрана, спокойный, внимательный, живой.

Я увеличила изображение. И увидела то, чего не заметила на стене.

В крохотном белом блике на зрачке, в той светлой точке, которую художник поставил одним касанием кисти, было что-то нарисовано. Совсем маленькое, меньше миллиметра. Силуэт. Женский. В длинном платье, с косой через плечо.

Художник нарисовал в глазу портрета отражение того, на кого этот глаз смотрел.

Я выключила телефон и долго сидела, слушая, как за окном скрипит снег. Кто-то шёл по берегу, медленно, неторопливо, не приближаясь и не удаляясь.

Когда я наконец решилась выглянуть, на берегу никого не было. Только цепочка следов на свежем снегу, ведущая от воды к моему забору и обратно.

Они заканчивались у самой кромки озера. Будто тот, кто их оставил, просто вошёл в воду.

Глава 3. Человек у причала

Про следы я Глебу не рассказала.

Утром их уже не было: ночью снова шёл снег, мелкий и сухой, и засыпал берег ровным белым слоем, как побелка стену. Я постояла у забора, глядя на то место, где цепочка вчера уходила в воду. Озеро у берега затянуло тонкой ледяной коркой. Целой, без единой трещины.

Я сказала себе, что это был рыбак. Пьяный, решивший срезать путь вдоль берега. Сказала себе, что следы обрывались у воды, потому что дальше начинался лёд и на нём они просто не были видны в темноте. Сказала себе много разумных вещей. Ни одной не поверила.

Глеб опоздал на двадцать минут. Он пришёл без Бурана, хмурый, с красными глазами, будто не спал всю ночь.

— Буран заболел, — коротко сказал он на мой вопросительный взгляд. — Отказался выходить из будки. Поехали.

Всю дорогу до острова он молчал. Я тоже. Только когда мы причалили и он привязывал лодку, я спросила:

— Глеб, а вы давно здесь работаете?

— Всю жизнь, — сказал он, не поднимая головы. — Я местный. Отец лесничим был, дед тоже. Я в Петрозаводске учился на историка, вернулся. Тут кто-то должен присматривать.

— За чем?

Он выпрямился и посмотрел на меня. Взгляд был тяжёлый, изучающий, какого я у него раньше не видела.

— За памятниками, — сказал он. — За чем ещё.

В церкви было холоднее, чем вчера. Я сразу заметила это, когда вошла: изо рта шёл пар, хотя на улице было влажно и почти тепло. Японская бумага на моей расчистке была на месте. Я сняла её и посмотрела на портрет. Он был таким же: серые глаза, сжатый рот, тёмная прядь у виска. Нет, не совсем таким же. Мне показалось, что кожа на лице стала чуть светлее. Будто краска за ночь выцвела.

Я сфотографировала его снова и сравнила с вчерашним снимком. Разница была. Небольшая, на грани восприятия, но была.

Это могло объясняться чем угодно. Другим освещением. Перепадом влажности. Пигменты иногда меняют цвет, когда их открывают после долгой консервации, — свинцовые белила, например, могут темнеть, а некоторые органические краски выцветают за часы. Я знала это. Я записала это в журнал. И всё равно, когда я начала работать на другом участке стены, мне казалось, что портрет следит за мной.

В одиннадцать Глеб сказал, что ему нужно на берег.

— Северин приезжает, — объяснил он. — Хочет посмотреть, как идёт работа. Я его привезу. Часа через два.

— Сюда? Днём?

Вопрос вырвался сам собой, я даже не поняла, почему задала его. Глеб посмотрел на меня как-то странно.

— А почему нет? — медленно сказал он.

— Не знаю, — честно ответила я. — Просто так.

Он уплыл. Я осталась в церкви одна.

Сначала было тихо. Я работала на северной стене, расширяя пробную расчистку вниз, к одеждам ангела, и под скальпелем проступали складки: охристые, с тонкими пробелами, написанные уверенной быстрой рукой. Это было увлекательно, это поглощало целиком, и я почти перестала замечать холод.

Потом я услышала шаги.

Они звучали за стеной, снаружи. Медленные, тяжёлые, будто кто-то обходил церковь по кругу. Хрустел снег. Скрипнула доска на паперти. Я замерла со скальпелем в руке.

— Глеб? — позвала я.

Тишина.

Шаги прошли под северными окнами, потом под западными. Остановились у двери.

Дверь была приоткрыта. Я оставила её так специально, чтобы проветривать после размачивания побелки. В щель была видна паперть, снег и серый свет.

Никто не вошёл.

Я спустилась с лесов, держа скальпель как оружие. Это было смешно: пятисантиметровое лезвие против неизвестно чего. Но мне стало легче. Я подошла к двери и толкнула её.

На паперти никого не было. На снегу перед входом не было следов. Только мои вчерашние и Глеба, полузасыпанные. Никаких свежих.

Я обошла церковь кругом. Следов не было нигде.

Когда я вернулась внутрь, руки у меня дрожали. Я села на нижнюю ступеньку лесов, достала термос и выпила полкружки чая залпом, обжигаясь. Потом долго сидела, глядя на алтарную стену. Белую. Пустую. Ледяную.

«Ты сходишь с ума, Зорина, — сказала я себе. — Тебя бросил человек, которого ты любила. Ты два месяца плохо спишь. Ты приехала в глушь, где темнеет в четыре, и тебе рассказали страшилку про проклятый остров. Конечно, тебе мерещатся шаги».

Это было логично. Это было разумно. Это объясняло всё.

Кроме следов, ведущих в воду.

В час дня снова застучал мотор. Я вышла на паперть и увидела, что к острову подходит лодка. Не наша «казанка», а другая: деревянная, тёмная, старинного вида, с высоким носом. На вёслах сидел Глеб. На корме — ещё один человек.

Я спустилась к мосткам.

Лодка подошла медленно, мягко ткнулась в причал. Глеб выпрыгнул, накинул верёвку на столбик. Человек на корме поднялся.

Он был высокий, в длинном чёрном пальто, без шапки, хотя ветер с озера был ощутимый. Тёмные волосы. Бледное, почти прозрачное лицо, на котором резко выделялись скулы. Сжатый рот.

И серые глаза.

Я узнала его сразу. Не сразу поняла, откуда. А когда поняла — у меня подкосились ноги, и я схватилась за столбик причала, чтобы не упасть.

Это было лицо с моей расчистки. То самое. Каждая черта. Прядь у виска. Горбинка на носу. Даже то, как он сжимал губы, будто только что передумал говорить.

Он шагнул на мостки. Посмотрел на меня.

И тоже узнал.

Я увидела это. Увидела, как что-то дрогнуло в его лице, как он на долю секунды застыл с поднятой ногой, будто наткнулся на стену. Как сузились зрачки. Как побелели костяшки пальцев на руке, которой он держался за борт.

Это длилось одно мгновение. Потом его лицо снова стало спокойным, вежливым и пустым.

— Вера Зорина, — сказал Глеб, глядя то на него, то на меня. — Наш реставратор. Вера, это Ян Андреевич Северин.

— Просто Ян, — сказал он.

Голос был низкий, негромкий, с едва заметной хрипотцой. Он протянул мне руку. Я машинально протянула свою.

Его ладонь была холодной. Не прохладной, как у человека, который долго был на ветру, а холодной насквозь, как камень, пролежавший ночь на морозе. Я вздрогнула. Он отпустил мою руку сразу, будто обжёгся сам.

— Простите, — сказал он. — Перчатки забыл.

— Ничего, — сказала я. Голос не слушался.

Мы поднялись к церкви. Глеб шёл впереди, Ян — за ним, я — последней. Я смотрела ему в спину и пыталась привести мысли в порядок. Совпадение. Просто совпадение. Он сам говорил Глебу, что потомок того Северина. Семейное сходство через триста лет — такое бывает. Гены — штука упрямая. Я видела в Эрмитаже портреты, на которых прапрадеды были как две капли воды похожи на своих правнуков с фотографий.

Но не настолько.

На паперти он остановился. Совсем ненадолго, на секунду, не больше. Будто прислушивался к чему-то внутри. Потом шагнул через порог.

И вот тут я заметила.

Солнце в этот момент вышло из-за облаков, низкое, ноябрьское, и ударило в паперть сбоку. Наши тени легли на снег: длинная тень Глеба, моя, тень от столба крыльца.

Тени Яна не было.

Снег там, где он прошёл, был чистым и белым. Совершенно белым. Как побелка на алтарной стене.

Я остановилась. Ян обернулся из дверей и посмотрел на меня. Потом посмотрел туда, куда смотрела я, — на снег. Потом снова на меня.

Солнце ушло за облако.

— Вера, вы идёте? — крикнул Глеб изнутри.

— Иду, — сказала я.

Ян отступил, пропуская меня. Когда я проходила мимо, он сказал совсем тихо, так тихо, что я едва расслышала:

— Здесь плохой свет. Обманывает глаза.

Я не ответила.

Внутри он долго стоял перед моей расчисткой. Глеб что-то говорил про бюджет, про сроки, про то, что из Москвы, может быть, приедет комиссия. Ян не слушал. Он смотрел на портрет. На своё лицо. И лицо у него при этом было такое, будто он смотрит на могилу.

— Вы это открыли вчера? — спросил он наконец, не оборачиваясь.

— Да.

— Быстро.

— Побелка хорошо отходит. — Я помолчала. — Он похож на вас.

Глеб замолчал на полуслове.

Ян обернулся. Посмотрел на меня долгим, непроницаемым взглядом.

— Говорят, — сказал он, — что художник писал себя. Сын купца, который построил эту церковь. Он умер молодым. Утонул. — Пауза. — Я его потомок. Похоже, сходство передалось.

— Похоже, — согласилась я.

Он подошёл ближе. Слишком близко. От него пахло морозом, хвоей и чем-то ещё, едва уловимым, сладковатым. Ладаном.

— Вера, — сказал он, и это было первый раз, когда он назвал меня по имени. — У меня к вам одна просьба. Как у человека, который платит за эту работу.

— Какая?

— Не торопитесь. — Он посмотрел на алтарную стену, белую и пустую. Потом снова на меня. — Это очень старая роспись. Ей некуда спешить. Вам тоже.

— Я реставратор, — сказала я. — Я никогда не тороплюсь.

Уголок его рта дрогнул. Почти улыбка. Почти.

— Вчера вы торопились, — сказал он и кивнул на расчистку, которая была в десять раз больше, чем положено по методике.

Мне нечего было на это ответить.

Они уплыли через полчаса. Глеб сказал, что вернётся за мной в три. Я стояла на мостках и смотрела, как тёмная деревянная лодка уходит в туман. Ян сидел на корме, неподвижный, прямой. Он не оглядывался.

А когда лодка уже почти растворилась в белом, он вдруг повернул голову и посмотрел прямо на меня. Через пятьдесят метров тумана. Так, будто туман ему не мешал.

Я вернулась в церковь и подошла к портрету.

Краска на лице больше не выцветала. Наоборот. Мне показалось, что щёки едва-едва порозовели. Будто тот, кто был изображён на стене, только что увидел что-то, от чего ему стало теплее.

В тот вечер я позвонила бабушке и рассказала ей про Северина. Про сходство, про холодную руку, про то, что он попросил меня не торопиться.

Про тень я не сказала. Не смогла произнести это вслух.

Бабушка выслушала молча. Потом спросила:

— Он к тебе прикасался?

— Пожал руку.

— И как?

— Холодная, — сказала я. — Очень.

Бабушка помолчала. Потом сказала то, чего я от неё никак не ожидала:

— Хорошо. Значит, всё правильно. Работай, Верочка. Работай спокойно. Только алтарь не трогай, пока я не скажу.

— Ба, — сказала я. — Что значит «всё правильно»?

Но она уже положила трубку.

Я лежала в темноте и смотрела в потолок. Где-то за стеной скреблась мышь. Потрескивали дрова. Озеро за окном было тихим и чёрным.

И я впервые за два месяца ни разу не вспомнила Костю.

Я думала о человеке без тени. О том, как он сказал «не торопитесь» голосом, в котором была не просьба, а что-то другое. Страх? Нет. Надежда.

Как будто он ждал этого очень, очень давно. И боялся, что я закончу слишком быстро.

Глава 4. Дом за озером

Приглашение пришло через четыре дня, в конверте.

Настоящем бумажном конверте, плотном, кремовом, с сургучной печатью, на которой была отгиснута буква «С» в обрамлении еловой ветви. Я нашла его утром в почтовом ящике, приколотенном к калитке, — ящике, в который, судя по ржавчине, никто ничего не клал лет двадцать.

Почерк был ровный, старомодный, с длинными хвостами у букв.

«Уважаемая Вера Сергеевна. Семья Севериных будет рада видеть Вас у себя в субботу, к шести часам вечера. Мы хотели бы ближе познакомиться с человеком, которому доверено наше общее наследие. Лодку пришлют к причалу в половине шестого. Е. Северина».

Я перечитала его трижды. «Наше общее наследие». Не «наша церковь», не «реставрация, которую мы финансируем». Общее. Будто у меня с ними было что-то общее.

Глеб, увидев конверт, помрачнел.

— Евдокия Павловна, — сказал он. — Хозяйка. Ну, то есть бабушка Яна, кажется. Или прабабушка. Я так и не понял, кто там кому кем приходится.

— Вы там бывали?

— Один раз. Привозил документы на подпись. — Он отдал мне конверт, будто тот был горячим. — Дальше прихожей не пустили.

— Вы считаете, мне не стоит ехать?

Глеб долго смотрел на озеро, на тёмную полосу леса за ним, где пряталась усадьба.

— Я считаю, — сказал он наконец, — что вам стоит взять с собой телефон. Полностью заряженный. И написать мне, когда приедете и когда будете уезжать.

— Там же связи нет.

— У них есть, — сказал он. — У них всё есть.

Лодка пришла ровно в половине шестого. Та самая, тёмная, деревянная, с высоким носом. На вёслах сидел не Ян, а парень помоложе, лет восемнадцати на вид: светловолосый, кудрявый, с весёлыми глазами и такой же мраморной бледностью, как у Яна.

— Марк, — представился он и протянул руку в перчатке. — Вы Вера. Садитесь, только осторожно, она вертлявая. Как Аглая.

— Кто такая Аглая?

— Скоро узнаете, — сказал Марк и рассмеялся. Смех у него был лёгкий, мальчишеский. — Только не говорите ей, что я так сказал.

Он грёб быстро и ровно, без видимых усилий. Лодка шла по чёрной воде, как по стеклу. Уже совсем стемнело, и на небе высыпали звёзды, крупные, северные, каких никогда не бывает в Питере. Луны не было.

— Вы давно здесь живёте? — спросила я.

— Три года, — сказал Марк. — Ну, в этот раз.

— В этот раз?

Он на секунду сбился с ритма. Потом улыбнулся.

— Мы раньше уже жили в этих краях. Давно. Потом уезжали. Семейная история, долго рассказывать.

Дальше мы плыли молча.

Усадьба открылась внезапно, когда лодка обогнула мыс. Большой двухэтажный дом с мезонином, белыми колоннами и широким крыльцом, спускающимся почти к самой воде. Во всех окнах горел свет, тёплый, жёлтый, мягкий. Свечи, поняла я, когда мы подплыли ближе. Не электричество. В каждом окне — свечи.

На крыльце стоял Ян.

Он был в тёмном свитере и тёмных брюках, без пальто, хотя мороз к вечеру усилился. Он смотрел, как мы причаливаем, и не двигался. Только когда Марк выпрыгнул и подал мне руку, Ян спустился по ступеням.

— Вера, — сказал он. — Спасибо, что приехали.

— Спасибо за приглашение.

— Это не я, — сказал он. — Это бабушка.

И по тому, как он это сказал, я поняла: он был против.

Внутри дом был ещё красивее, чем снаружи. Паркет, тёмный и блестящий, как вода. Высокие потолки с лепниной. Мебель — старая, настоящая, не новодел: кресла с выцветшей шёлковой обивкой, резной буфет, огромное зеркало в золочёной раме. Я машинально посмотрела в него, проходя мимо, и увидела себя: растрёпанную, с красными от мороза щеками, в единственном приличном свитере. За моей спиной стоял Ян.

Он отражался. Конечно, отражался. Я сама не знала, почему почувствовала облегчение.

Он заметил, куда я смотрю, и уголок его рта дрогнул.

— Проходите в гостиную, — сказал он. — Вас ждут.

В гостиной горел камин. Перед ним в высоком кресле сидела женщина.

Я ожидала увидеть старуху. «Бабушка Яна, или прабабушка», — сказал Глеб. Но женщине в кресле было лет сорок, не больше. Тонкое строгое лицо, волосы цвета пепла, уложенные в низкий узел. Тёмное платье с высоким воротом. Руки, лежащие на подлокотниках, были белыми и неподвижными, как у статуи.

— Вера Сергеевна, — сказала она. Голос был низкий, мелодичный, с чуть заметным старомодным выговором. — Подойдите. Дайте на вас посмотреть.

Я подошла. Она смотрела на меня долго. Так долго, что мне стало не по себе. Её глаза были такими же серыми, как у Яна, но гораздо светлее, почти прозрачными.

— Да, — сказала она наконец, будто отвечая на какой-то вопрос. — Да. Похожа.

— На кого? — спросила я.

Евдокия Павловна улыбнулась. Улыбка была красивой и совершенно холодной.

— На свою семью, — сказала она. — Садитесь, Вера Сергеевна. Аглая, налей госте чаю. Только тогда я заметила девушку у окна.

Она стояла так неподвижно, что я приняла её за часть обстановки, за статую или портрет. Высокая, тонкая, с чёрными волосами, падающими до пояса прямой тяжёлой волной. Лицо у неё было идеальным, как у фарфоровой куклы, и таким же неживым. Она повернулась ко мне медленно, с ленивой грацией кошки, и посмотрела так, что мне захотелось проверить, не испачкан ли у меня нос.

— Конечно, бабушка, — сказала она и пошла к столику с самоваром.

Чай был крепкий, горький, с травами. Мята, чабрец, что-то ещё, незнакомое. Чашка была фарфоровой, тонкой, с золотым ободком и маленькой синей монограммой на донце. Я села в кресло напротив Евдокии Павловны. Ян встал у камина, спиной к огню. Марк устроился на подоконнике. Аглая вернулась к окну.

Никто из них не пил чай.

Я заметила это не сразу. На столике стояло пять чашек, но наполнена была только моя. Остальные — пустые, чистые, сияющие белизной.

— Расскажите о себе, — попросила Евдокия Павловна. — Вы из Петербурга?

Я рассказала. Академия художеств, кафедра реставрации, дипломная работа по иконописи Русского Севера. Бабушка на Васильевском. Мама и папа, которые живут в Москве и с которыми мы созваниваемся по праздникам.

— А бабушка? — спросила Евдокия Павловна. — Чем она занимается?

— Она на пенсии. Раньше работала в библиотеке. В отделе редкой книги.

— Как её зовут?

— Агния Фёдоровна.

Евдокия Павловна медленно наклонила голову, будто имя ей что-то сказало. Ян у камина чуть заметно напрягся. Аглая у окна усмехнулась.

— Агния, — повторила хозяйка. — Красивое имя. Старое. В вашей семье любят старые имена.

— Наверное, — сказала я. — А откуда вы...

— А ваша фамилия, — перебила она мягко, — Зорина. Вы знаете, откуда она?

— Нет, — честно сказала я. — Бабушка говорила, что предки жили где-то на севере. Больше ничего.

Евдокия Павловна посмотрела на Яна. Он смотрел на неё. Между ними что-то происходило, разговор без слов, быстрый и напряжённый. Я почувствовала себя ребёнком, при котором взрослые говорят о чём-то важном на иностранном языке.

— Бабушка, — сказал Ян. Тихо. С нажимом.

— Конечно, — сказала Евдокия Павловна и снова повернулась ко мне. — Простите. Мы здесь давно живём, мы любим старые истории. Иногда увлекаемся. Расскажите лучше о церкви. Ян говорит, вы уже открыли первый фрагмент?

Мы проговорили о церкви час. Евдокия Павловна оказалась на удивление сведущей: она знала, что такое темпера на яичном желтке, чем фресковая техника отличается от клеевой, почему в северных храмах писали по холсту, а не по штукатурке. Она задавала точные, профессиональные вопросы. Иногда мне казалось, что она знает об этой росписи больше, чем я.

Аглая за весь вечер не сказала ни слова. Марк иногда шутил, разряжая обстановку. Ян молчал. Он стоял у камина всё это время, не шевелясь, и смотрел то на огонь, то на меня. Когда наши взгляды встречались, он отводил глаза первым.

В восемь Евдокия Павловна поднялась.

— Благодарю за вечер, Вера Сергеевна, — сказала она. — Вы приедете ещё. Мы будем рады. Ян вас проводит.

И это не было вопросом.

Ян проводил меня до лодки. Он молчал всю дорогу через дом, через холл с зеркалом, по ступеням крыльца. Только у самой воды, когда Марк уже сидел на вёслах, он вдруг сказал:

— Не приезжайте больше.

Я обернулась.

— Ваша бабушка только что сказала...

— Я знаю, что сказала бабушка. — Он стоял близко, слишком близко, и в темноте его лицо казалось вырезанным из льда. — Я прошу вас. Не приезжайте. Работайте в церкви, пишите отчёты, отдыхайте по выходным. Но сюда не приезжайте.

— Почему?

Он долго молчал. За его спиной светились окна дома, и в каждом мерцала свеча.

— Потому что вы им нравитесь, — сказал он наконец. — А это никогда не заканчивается хорошо.

Я хотела спросить, что он имеет в виду. Хотела спросить, почему никто из них не пил чай. Почему его бабушка выглядит моложе моей мамы. Почему у Аглаи такие глаза, будто она прожила сто лет и все они ей надоели. Почему он сам тогда, на причале, посмотрел на меня так, будто увидел призрак.

Но Ян уже отступил на шаг, в темноту, и сказал Марку:

— Отвези её. Сразу домой.

Марк оттолкнулся от берега.

На середине озера он перестал грести и опустил вёсла.

— Не обижайтесь на него, — сказал он. В темноте его голос звучал серьёзнее, взрослее. — Он не грубый. Он просто боится.

— Чего?

Марк посмотрел на остров. Мы проплывали недалеко, и туман вокруг церкви был виден даже в темноте: бледный, светящийся, живой.

— Того, что история повторится, — сказал он. — Он не переживёт, если она повторится.

— Какая история?

Но Марк уже снова взялся за вёсла и заговорил о другом — о том, что зимой здесь бывают северные сияния и что мне обязательно надо их увидеть.

Дома я первым делом написала Глебу: «Вернулась. Всё в порядке». Он ответил через секунду, будто ждал с телефоном в руке: «Слава богу. Как там?»

Я подумала и написала: «Странно».

Потом сняла свитер и увидела то, чего не заметила раньше.

На рукаве, на манжете, был след. Тёмное пятнышко, размером с ноготь. Как будто я задела чем-то рукой. Я поднесла манжету к лампе.

Это была кровь. Засохшая, бурая. Не моя: у меня не было ни царапины.

Я вспомнила, как Аглая подавала мне чашку. Как наши пальцы соприкоснулись на долю секунды. Её пальцы были холодными, как у Яны. И липкими.

Я долго сидела на кровати с этим свитером в руках. Потом встала, нашла в коробке с инструментами пробирку для образцов и аккуратно вырезала кусочек ткани с пятном.

Я реставратор. Я верю в химию, рентген и ультрафиолет.

Когда-нибудь мне придётся узнать, что именно было на руках у Аглаи Севериной.

Глава 5. Без тени

После вечера в усадьбе я начала замечать.

Наверное, я замечала и раньше, просто не позволяла себе складывать увиденное в одну картину. Реставраторов учат не делать выводов по фрагменту. Под одним сантиметром побелки может оказаться ангел, а может — поздняя запись девятнадцатого века, которую придётся убирать. Нужно открыть достаточно, чтобы понять целое. Нужно терпение.

Теперь я открывала. Методично, как на работе.

Я завела тетрадь. Обычную, в клетку, купленную в «Хозтоварах» вместе с новыми батарейками для фонарика. На первой странице написала: «Северины. Наблюдения». Перечитала, почувствовала себя героиней плохого подросткового сериала и чуть не выбросила тетрадь в печь. Но не выбросила.

Пункт первый: тень. Я видела это один раз, на паперти, при низком солнце. Один раз — не доказательство. Ян сказал, что свет обманывает глаза. Возможно.

Пункт второй: холод. Рука Яна. Руки Аглаи. Можно объяснить плохим кровообращением, синдромом Рейно, чем угодно.

Пункт третий: еда. Никто из них при мне не ел и не пил. Одного вечера мало, чтобы делать выводы.

Пункт четвёртый: Евдокия Павловна. Если она бабушка Яна, ей должно быть за семьдесят. Выглядит на сорок. Пластика? Генетика? Хорошая косметика?

Пункт пятый: кровь на манжете.

На пятом пункте я остановилась. Пробирка с кусочком ткани стояла на подоконнике, и я смотрела на неё каждое утро, как на улику в детективе. Отправить на анализ было некуда: ближайшая лаборатория — в Петрозаводске, и что я им скажу? «Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, чья это кровь, у меня есть подозрение, что мои соседи — вампиры»?

Я написала это слово и тут же зачеркнула. Так густо, что ручка прорвала бумагу.

В церкви работа шла медленно, как и положено. После нагоняя от самой себя за первую расчистку я вернулась к методике: маленькие окна, тесты растворителей, картограмма, журнал. Северная стена постепенно оживала. Под побелкой проступали ангелы — сначала нимбы, потом крылья, потом лица. Лица были иконописные, условные, совсем не такие, как портрет в углу. Будто художник писал их по образцу, по прорисям, а живую руку приберёт для одного-единственного лица.

Портрет я больше не трогала. Только каждое утро снимала с него бумагу, фотографировала и закрывала снова. И каждое утро сравнивала снимки.

Краска менялась. Я была в этом уверена. Не сильно — на полтона, на четверть тона. Но в те дни, когда я видела Яна, лицо на стене казалось чуть теплее. В те дни, когда не видела, — чуть бледнее.

Ян приезжал на остров ещё дважды за ту неделю. Оба раза — с Глебом, оба раза ненадолго. Он смотрел на работу, задавал вопросы, кивал. Держался вежливо и отстранённо, как человек, который финансирует проект и не более того. О вечере в усадьбе мы не говорили. О его просьбе «не приезжать» — тоже.

Но я наблюдала.

Оба раза он приезжал в пасмурную погоду. Оба раза в лодке садился так, чтобы между ним и водой был борт. Оба раза, проходя по мосткам, не смотрел вниз.

И оба раза, когда он уезжал, Глеб провожал его взглядом, в котором было что-то, чего я не могла понять. Не неприязнь. Скорее — настороженность человека, который держит руку на рукояти ножа под курткой.

В четверг у меня кончился хлеб, и я пошла в магазин.

«Продукты» на площади открывались в девять, но очередь там стояла уже с половины девятого — я поняла это, когда пришла к открытию и оказалась седьмой. Впереди меня стояли шесть женщин. Все в пуховых платках, валенках с галошами и длинных пальто неопределённого цвета. Все примерно одного возраста — от семидесяти до бесконечности. Они стояли не в очередь, а кучкой, тесно, плечом к плечу, и разговаривали так, будто встречались здесь каждое утро последние пятьдесят лет. Скорее всего, так и было.

Когда я подошла, разговор оборвался. Шесть пар глаз уставились на меня. Внимательно, с ног до головы, без всякого стеснения.

— Здравствуйте, — сказала я.

— Здравствуй, дочка, — ответила одна из них, маленькая, круглая, с удивительно яркими голубыми глазами на сморщенном, как печёное яблоко, лице. — Ты, что ль, питерская? Которая на острове?

— Я.

— Ну-ну, — сказала она. И остальные закивали, будто это «ну-ну» что-то объясняло.

Пауза затянулась. Я не знала, что сказать, и сделала вид, что разглядываю объявление на двери: «Принимаем бруснику. Дорого».

— Это баба Нюра, — сказала мне в спину другая старуха, высокая и сухая, кивая на голубоглазую. — У неё волк собаку задрал. Слыхала?

— Слыхала, — сказала я. — Глеб говорил.

— Глеб, — повторила высокая со значением. Старухи переглянулись. — Корзун-то. Ну да. Он тебе много чего наговорит.

— А вы не верите, что волк?

Они снова переглянулись. Баба Нюра поджала губы.

— Волки у нас, дочка, собак не таскают, — сказала она. — Волки у нас тихие. наших собак таскает другое. Только это не к ночи будь сказано, а утром — можно.

— Что — другое?

— А то, — сказала высокая. — Которое на озере.

Дверь магазина открылась. Продавщица — молодая, полная, в белом халате поверх свитера — выглянула, увидела очередь и сказала: «Заходим, бабоньки, хлеб привезли». Старухи потянулись внутрь. Я пошла за ними.

Внутри было тепло, пахло свежим хлебом, хозяйственным мылом и чем-то кислым — квашеной капустой из бочки у прилавка. Старухи выстроились у прилавка уже по-настоящему, в очередь, но разговаривать не перестали. Я поняла, что попала на что-то вроде заседания, и что меня, кажется, решили принять в слушатели.

— Ты на острове-то по ночам не бываешь? — спросила баба Нюра, не оборачиваясь.

— Нет. Только днём.

— И правильно. А огни видала?

Я помолчала.

— Видела. Один раз. В первый вечер.

Старухи разом обернулись.

— В первый, — повторила высокая. — Ишь ты. Сразу, значит, показался.

— Кто показался?

— Хозяин, — сказала баба Нюра просто. — Острова хозяин. Он всегда показывается, когда кто новый на остров ходить начинает. Огонь в окне зажигает. Вроде как здороваются.

— Или предупреждает, — сказала третья старуха, до сих пор молчавшая, — сморщенная, в чёрном платке, с клюкой.

— Или предупреждает, — согласилась баба Нюра.

Продавщица, взвешивая кому-то пряники, закатали глаза.

— Баба Нюра, опять вы за своё. Девушку напугаете.

— А пусть пугается, — отрезала баба Нюра. — Страх — он от беды бережёт. Вот ты, Люба, не боишься, тебе и не надо. Ты с острова не ходишь. А она ходит.

Люба махнула рукой и снова занялась пряниками.

— А почему он предупреждает? — спросила я.

Баба Нюра посмотрела на меня. Её голубые глаза были неожиданно серьёзными.

— Потому что под островом — девка, — сказала она. — Песельница. Слыхала про такую?

У меня внутри всё сжалось. Я вспомнила следы на снегу, уходящие в воду. Вспомнила лицо подо льдом — тогда ещё нет, это было позже, но в ту минуту, у прилавка с капустой, я, кажется, почувствовала его заранее.

— Нет, — сказала я. — Не слыхала.

— Мне бабка рассказывала, — сказала баба Нюра. — А ей — её бабка. Давно это было. При царе ещё, при старом. Жила у нас девка — красавица, певунья. В церкви пела так, что люди плакали. И пошла она зимой на озеро, под лёд. Сама пошла. Отчего — никто не знает. Кто говорит — от любви. Кто говорит — от отца, отец у неё был лютый. А только не нашли её. Не схоронили, не отпели. Так и лежит.

— И поёт, — сказала высокая.

— И поёт, — кивнула баба Нюра. — Зимой, по ночам. Тихо так, жалобно. Кто услышит — тому худо. Кто ответит — того заберёт.

— А ты не отвечай, — сказала старуха с клюкой, глядя прямо на меня. — Что бы ни пела — не отвечай. Ни имени своего не говори, ни «иду». Молчи. И полынь носи. Полынь она не любит.

Я стояла посреди магазина, среди запахов хлеба и капусты, и чувствовала, как по спине ползёт холод.

— А вы её слышали? — спросила я. — Сами?

Старухи замолчали. Долго. Продавщица Люба перестала взвешивать пряники и тоже смотрела на них.

— Я слышала, — сказала наконец старуха с клюкой. — Один раз. В семьдесят четвёртом году. Зимой.

У меня перехватило дыхание. Семьдесят четвёртый.

— Я тогда на берегу жила, где ты сейчас, — продолжала она. — В синем доме. Это ж мой дом был, его потом музей купил, как я к дочке перебралась. И вот ночью, в феврале, слышу — поёт. С озера. Я к окну. А на берегу, у самой воды, девка стоит. Молоденькая. Не наша, приезжая. И смотрит на остров. И я вижу — она к воде шагнёт, сейчас шагнёт. Я окно распахнула, кричу ей: «Девка! Не ходи!» А она не слышит. И тут лодка. Откуда взялась — не знаю. И в лодке кто-то. Высокий. Её в лодку посадил — и на остров. А потом обратно. И песня стихла.

— И что с ней было? С девушкой?

Старуха пожала плечами.

— Утром уехала. Живая. Я её видала — на автобус шла, белая вся, как полотно. — Она помолчала. — А лицо у неё было — вот прямо как у тебя. Похожее очень. Я тебя как увидела у автобуса в первый день, аж обмерла. Думала — она вернулась. А потом гляжу — нет, молодая. Не может быть.

Я не знала, что сказать. Стояла и смотрела на неё.

Бабушка. Это была моя бабушка. Двадцатилетняя Агния Зорина, которая стояла на этом берегу пятьдесят лет назад.

Тогда я ещё не знала этого. Узнала потом. Но в ту минуту что-то внутри меня уже знало — и от этого знания подгибались колени.

— Хлеба тебе, дочка? — спросила продавщица Люба, видимо, чтобы прервать паузу. — Чёрного или белого?

— Чёрного, — сказала я. — Две буханки.

Я расплатилась и пошла к двери. У самого порога баба Нюра поймала меня за рукав.

— И вот ещё что, — сказала она тихо, так, чтобы другие не слышали. — Северины эти. Которые в усадьбе. Ты с ними поосторожней.

— Почему?

— Потому что моя бабка их помнила, — сказала баба Нюра. — Девчонкой. Сто лет назад. Тех же самых. Молодого чернявого, и барышню с косой до пояса, и кудрявенького. Они тогда тоже приезжали. Пожили года три — и уехали. А бабка моя потом всю жизнь говорила: «Не старели они, Нюрка. Ни на денёк не старели». — Она отпустила мой рукав. — Я тоже думала — сказки. Старая была, путалась. А теперь гляжу на них — и думаю: а ну как не путалась?

Я вышла на улицу. Серый день, серое небо, серый снег. Площадь была пустой.

Нет. Не совсем пустой.

На другой стороне, у здания администрации, под безжизненно висящим флагом, стояла девушка. Высокая, тонкая, в тёмном длинном пальто, с чёрными волосами, падающими до пояса тяжёлой прямой волной. Без шапки. Без перчаток. Она стояла неподвижно и смотрела на меня через всю площадь.

Аглая.

Днём. Под серым небом. В нескольких шагах от магазина, полного старух, которые помнили её бабушкам.

Мы смотрели друг на друга, наверное, минуту. Потом она медленно, очень медленно улыбнулась. Не губами — одними глазами. И повернулась, и пошла прочь, к озеру, по тропинке между заснеженными огородами. Не торопясь. Не оглядываясь.

На снегу за ней не оставалось следов.

Я стояла с двумя буханками чёрного хлеба в руках и смотрела ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Потом пошла домой. Быстро. Почти бегом.

Вечером я дописала в тетрадь в клетку новый пункт:

«Они уже бывали здесь. Сто лет назад. И не постарели».

А ниже, после долгого раздумья, ещё один:

«Если она запоёт — не отвечать».

Я тогда ещё не знала, как трудно будет выполнить это правило.

В пятницу пошёл снег. Настоящий, первый за этот год густой снег, крупными хлопьями, тихий и бесконечный. Глеб довёз меня до острова утром и сказал, что вернётся раньше обычного, в два: если снегопад не кончится, потом можно и не найти дорогу обратно в тумане.

В полдень на мостках появился Ян.

Один. Без Глеба. В тёмной деревянной лодке, которую я видела у его причала. Я заметила его через окно, когда спускалась с лесов за новой порцией растворителя, и замерла с бутылкой в руке.

Он привязал лодку и поднялся по тропинке. Снег падал на его волосы и плечи и не таял.

Вот это я запомнила лучше всего. Снег ложился на него, как на камень. Как на скамейку у причала, на столбики, на перила. Белые хлопья копились на тёмном пальто, на ресницах, и не превращались в капли. Я видела, как падает снег на Глеба: на нём хлопья таяли мгновенно, оставляя мокрые пятна. На мне — тоже. На Яне — нет.

Он вошёл в церковь и стряхнул снег с плеч.

— Здравствуйте, Вера.

— Здравствуйте. — Я поставила бутылку на леса. — Вы без Глеба.

— Глеб занят. — Он посмотрел на северную стену, на ангелов. — Хорошо. Очень хорошо. Вы быстро учитесь не торопиться.

— Зачем вы приехали?

Он перевёл взгляд на меня.

— Посмотреть на работу.

— Вы смотрели на неё в среду.

— Значит, захотел посмотреть ещё раз. — Он помолчал. — Вы против?

Я подумала о тетради в клетку. О зачёркнутом слове.

— Нет, — сказала я. — Не против. Хотите, покажу, что открылось?

Мы час ходили вдоль стены. Я рассказывала, он слушал. Он слушал так, как никто никогда меня не слушал: всем собой, не перебивая, не отвлекаясь, не глядя в телефон. Задавал вопросы, от которых у меня перехватывало дыхание, — потому что это были вопросы человека, который понимает. Не любителя. Мастера.

— Вот здесь, — сказал он, показывая на складки одежды ангела, — пробела положены по сырому. Видите, как они вплавились?

— Да, — сказала я медленно. — Откуда вы знаете слово «пробела»?

Он замолчал. Потом пожал плечами.

— Читал.

— Что читали?

— Много чего. У меня много свободного времени.

Мы дошли до угла с портретом. Я сняла бумагу. Он посмотрел на лицо — своё лицо — и долго молчал.

— Он вам не нравится? — спросила я.

— Он слишком хорошо написан, — сказал Ян. — Художник был тщеславен. Хотел, чтобы его запомнили.

— По-моему, он хотел запомнить кого-то другого, — сказала я. — Не себя.

Ян повернулся ко мне. Очень медленно.

— Почему вы так думаете?

Я достала телефон, открыла увеличенный снимок глаза. Показала ему крохотный силуэт в блике: женщину в длинном платье, с косой через плечо.

— Он нарисовал её отражение, — сказала я. — В собственном глазу. Тот, кто так пишет, думает не о себе.

Ян смотрел на экран. Его лицо не изменилось, совсем. Только пальцы, которыми он держался за край лесов, сжались так сильно, что дерево тихо хрустнуло.

— Вам надо идти, — сказал он. — Снег усиливается. Я отвезу вас.

— Глеб приедет в два.

— Глеб не приедет, — сказал Ян. — Я ему позвоню.

И прежде, чем я успела возразить, он уже шёл к двери.

Снегопад и правда усилился. Мир стал белым, мягким и глухим. Я едва видела мостки, хотя до них было тридцать шагов. Ян шёл впереди, уверенно, будто видел сквозь снег. Я — за ним, по его следам.

Я смотрела на эти следы.

Они были. Чёткие, глубокие, как у любого человека. Но когда я ставила ногу в его след, снег под ним был холоднее, чем вокруг. Я чувствовала это даже сквозь ботинок. Будто там, где он прошёл, на секунду наступала другая, более глубокая зима.

На мостках он остановился и подал мне руку, чтобы помочь сесть в лодку. Я взялась за неё. Холодная.

И тут я посмотрела вниз, в воду.

Вокруг острова вода не замерзала. Она стояла у мостков чёрная, неподвижная, как полированный камень, и в ней отражалось всё: столбики причала, лодка, белое небо, падающий снег. Я. В тёмной куртке, с выбившимися из-под шапки волосами.

И Ян.

В воде он был другим.

Лицо — то же самое, но синее. Губы — тёмные, почти чёрные. Волосы облепили лоб мокрыми прядями. По щеке — тонкая полоса ила. Глаза открыты, неподвижны и смотрят вверх, в небо, сквозь меня, сквозь снег, сквозь всё.

Утопленник. Человек, которого только что вытащили из проруби.

Я вскрикнула и выпустила его руку. Пошатнулась на скользких мостках. Он поймал меня — мгновенно, я даже не увидела движения — за локоть, удержал, отвёл от края.

— Не смотрите в воду, — сказал он ровно. — Здесь у мостков глубоко. Голова закружится.

Я подняла на него глаза. Живое лицо. Бледное, но живое, с сухими волосами, на которых лежал нетающий снег.

— Я видела, — прошептала я.

— Вы ничего не видели.

— Я видела вас. В воде. Вы были...

— Вера. — Он не отпускал мой локоть. Его голос был очень спокойным, и от этого спокойствия становилось страшнее, чем от любого крика. — Вы устали. Вы работаете по восемь часов в холодной церкви, дышите растворителями. Вы плохо спите, это видно. У вас был тяжёлый год. Я прав?

Я молчала. Откуда он знал про тяжёлый год?

— Садитесь в лодку, — сказал он мягче. — Я довезу вас до дома. Выпейте горячего чая и ложитесь спать. Завтра суббота. Отдохните.

Я села в лодку. Он сел на вёсла, спиной к носу, лицом ко мне. Всю дорогу до берега он смотрел мимо меня, на остров. А я смотрела на воду за бортом.

Но в той воде, которая была дальше от острова, отражение было обычным. Просто тёмный силуэт на белом. Только у острова, только в той чёрной незамерзающей полынье, вода показывала правду.

Когда мы причалили у моего дома, он помог мне выйти. Задержал мою руку в своей на секунду дольше, чем нужно.

— Вера, — сказал он. — Тетрадь, которую вы завели. Сожгите её.

Я похолодела.

— Откуда вы...

— Вы держите её на подоконнике, рядом с пробиркой, — сказал он. — Окно выходит на озеро. С воды всё видно.

Он оттолкнул лодку и через минуту исчез в снегу.

Я вошла в дом, не раздеваясь, подошла к подоконнику. Тетрадь лежала на месте. Пробирка стояла рядом.

Пробирка была пуста. Кусочек ткани с пятном крови исчез. Крышка была закручена плотно, так же, как я её закрутила.

А на стекле окна, с внешней стороны, на высоте человеческого роста, остался след. Отпечаток ладони. Узкой, длинной, с тонкими пальцами. Женской.

В ту ночь я тетрадь не сожгла. Я написала в ней шестой пункт:

«Отражение в воде у острова. Утопленник».

И седьмой:

«Они знают, что я знаю».

Потом, подумав, дописала восьмой. Самый короткий и самый страшный:

«Мне не страшно».

Это было правдой. И именно это пугало меня больше всего.

Глава 6. Бабушкины письма

Посылка пришла во вторник.

Почтальонша, полная женщина в оранжевом жилете поверх пуховика, принесла её прямо к крыльцу и долго разглядывала меня с откровенным любопытством. В Ольховске я была событием: молодая девушка из Петербурга, живёт одна, каждый день плавает на проклятый остров. У магазина обо мне, наверное, уже сложили пару легенд.

— Это вы на Севериных работаете? — спросила почтальонша, протягивая мне коробку.

— На музей, — поправила я.

— Ну-ну, — сказала она. — На музей. — Помолчала, потом добавила, понизив голос: — Вы, дочка, после темноты к воде не ходите. Особенно одна.

— Почему?

Она посмотрела на меня так, будто я спросила, почему нельзя совать пальцы в розетку.

— Потому что у нас тут не ходят, — сказала она и ушла.

Коробка была небольшой, обмотанной скотчем в три слоя. Обратный адрес — бабушкин, на Васильевском. Внутри лежали шерстяные носки, связанные бабушкой, банка малинового варенья, коробка моего любимого чая с бергамотом и конверт.

В конверте было письмо и маленький полотняный мешочек на кожаном шнурке.

Я развернула письмо. Бабушкин почерк — мелкий, острый, учительский.

«Верочка. Носки надевай, там у вас сыро, а ты вечно ходишь с мокрыми ногами. Варенье ешь, не жалея. И вот ещё что. Мешочек носи на шее. Не снимай ни днём, ни ночью, ни в бане. Это от нашей семьи, старое, его носила моя мама, а до неё — её мама. Я давно должна была тебе его отдать, да всё думала, что рано. Теперь не рано. Не открывай его. Просто носи. И не показывай никому. Особенно Севериным. Целую. Ба».

Я перечитала письмо три раза. Потом взяла мешочек.

Он был лёгким, плотным, старым — полотно потемнело от времени и стало мягким, как замша. Внутри что-то шуршало и перекатывалось. Пахло от него горько и сухо: полынью. И ещё чем-то металлическим.

Я не стала его открывать. Не потому, что бабушка запретила, — я уже давно не слушалась её во всём. А потому, что держать его в руке было... правильно. Тепло. Как будто кто-то положил ладонь мне на плечо.

Я надела его на шею и спрятала под свитер.

Вечером я позвонила бабушке.

— Получила, — сказала я. — Спасибо за носки.

— Надела?

— Носки?

— Вера.

— Надела, — сказала я. — Ба, что в нём?

— Семейное, — ответила она. — Носи.

— Ба, я взрослая. Мне двадцать лет через месяц. Я реставратор с дипломом. Ты можешь мне объяснить, что происходит?

Молчание.

— Северины, — сказала я. — Ты их знаешь, да? Ты знала про них ещё до того, как отправила меня сюда. Ты знаешь про алтарную стену. Ты знаешь про Корзуна. Ты всё знаешь.

Долгое, тяжёлое молчание. Потом бабушка сказала:

— Я знаю некоторые старые истории. Семейные. Ничего такого, о чём стоит говорить по телефону.

— Тогда приезжай.

— Не могу. Не сейчас.

— Почему?

— Потому что, — сказала бабушка. — Работай, Вера. Делай свою работу хорошо, как тебя учили. Я приеду, когда придёт время.

— Когда придёт время для чего?

Но она сказала «спокойной ночи», и в трубке что-то щёлкнуло.

Только связь не прервалась.

Я поняла это через несколько секунд. Экран показывал, что звонок продолжается. В трубке было тихо, но не мёртво: я слышала шорох, далёкий звук шагов, скрип двери. Бабушка, видимо, нажала не туда, положила телефон на стол и ушла.

Я хотела сбросить вызов. Честное слово, хотела.

Потом услышала её голос. Приглушённый, далёкий — она говорила в другой комнате, по стационарному телефону, по старому дисковому аппарату, который стоял у неё в прихожей с советских времён.

— ...нашла его, да. В первую же неделю. — Пауза. — Нет, ещё не знает. Догадывается, конечно, она не дура. — Пауза. — Я надела на неё Маремьянин. Пусть носит. — Длинная пауза. — Я понимаю, Фёдор. Понимаю, что тянуть нельзя. Но ты пойми и меня. Она моя внучка. Не оружие. — Пауза. Голос стал жёстче. — Нет. Мальчик Корзуна пусть присматривает, но не лезет. Пока она сама не придёт к алтарю. Таков был уговор. — Пауза. — Да. До Крещения. Успеет.

Потом щёлкнуло, и связь прервалась по-настоящему.

Я сидела на кровати с телефоном в руке. В печке трещали дрова. За окном шёл снег.

«Я надела на неё Маремьянин».

«Она моя внучка. Не оружие».

«Мальчик Корзуна пусть присматривает».

«До Крещения».

Я никогда не слышала от бабушки имени Фёдор. Ни разу за двадцать лет. Я не знала никого с таким именем ни в нашей семье, ни среди её знакомых.

Я не знала, кто такая Маремьяна.

Но это имя я где-то слышала. Недавно. Совсем недавно.

Во сне. В том сне про женщину на льду, которая шла к чёрной воде и не оборачивалась. Я звала её по имени. Проснувшись, не могла вспомнить — помнила только, что имя было старое. Маремьяна.

На следующее утро я сказала Глебу, что в церковь не поеду.

— Заболели? — спросил он, вглядываясь мне в лицо.

— Нет. Хочу поработать в музее. С архивом. Мне нужна историческая справка для отчёта: кто строил церковь, кто расписывал, что известно о местных семьях. У вас ведь есть архив?

Глеб помолчал. Мне показалось, что он что-то взвешивает.

— Есть, — сказал он наконец. — Пойдёмте. Только не ждите многого. В основном копии из Петрозаводска и то, что люди приносили в девяностых.

Музей занимал половину бывшего купеческого дома на площади. В первой комнате — «Быт карельской деревни»: прялки, ткацкий стан, вышитые полотенца, самовар. Во второй — фотографии, карты, витрина с наконечниками стрел. Архив был в подсобке за второй комнатой: три металлических шкафа, стол, лампа под зелёным абажуром и пыль, пыль, пыль.

— Вот, — сказал Глеб, открывая первый шкаф. — Церковь — здесь. Копии метрических книг прихода — во втором. Переписи, ревизские сказки — в третьем. Если что-то понадобится, я в соседней комнате.

Он ушёл. Я села за стол и начала.

На церковь ушло два часа. Я узнала то, что уже знала, и немного сверх того. Храм заложен в 1719 году на средства олонецкого купца Андрея Северина «по обещанию». Освящён в 1726-м. В 1724-м в документах упоминается «пожар малый», после которого строительство на год приостановлено. Имя художника нигде не названо. В описи 1780 года указано, что стены «расписаны изрядно, кроме алтарной, которая побелена по указу». По чьему указу — не сказано.

В 1724-м. Опять этот год.

Метрические книги прихода хранились в копиях, сделанных, судя по виду, на ксероксе ещё советских времён. Строчки поплыли, буквы местами слились в чёрные кляксы. Я листала их медленно, водя пальцем по столбцам. Рождения. Браки. Смерти.

На 1723 годе я нашла его.

«Генваря 14 дня преставися купецкий сын Иоанн Андреев сын Северин, двадцати лет, утопе в озере подо льдом. Погребён...» Дальше было неразборчиво. Не то «при церкви», не то «не погребён», — буквы расплылись.

Иоанн. Ян.

Я перевернула страницу. Ещё одну. Пальцы дрожали.

На 1724 годе, в разделе браков, запись была пустой. Будто кто-то вырезал её: на копии остался белый прямоугольник, аккуратный, ровный.

А в разделе рождений за 1705 год я нашла другую запись. Короткую, почти стёртую:

«...родися у ловчаго Феодора Зорина дочь Маремьяна».

Ловчий Фёдор Зорин.

Фёдор.

Я сидела над этой строчкой, наверное, полчаса. Глеб дважды заглядывал в дверь и дважды уходил, ничего не сказав. Лампа под зелёным абажуром гудела. За окном потемнело — снова, как всегда, к четырём часам.

Зорины жили здесь. Триста лет назад. Здесь, в Ольховске, на берегу этого озера. И один из них — ловчий. Я не знала, что значит это слово в восемнадцатом веке. Охотник? Егерь? Тот, кто ловит... кого?

Маремьяна Зорина родилась в 1705-м. В 1724-м ей было бы девятнадцать. Столько же, сколько мне.

Ян Северин утонул в январе 1723-го. В двадцать лет.

Я закрыла глаза и вспомнила крохотный силуэт в блике на зрачке портрета. Женщина в длинном платье. С косой через плечо.

Когда я вышла из подсобки, Глеб сидел в первой комнате у самовара и чинил что-то в старой прялке. Он поднял на меня глаза.

— Нашли, что искали?

— Глеб, — сказала я. — Что значит «ловчий»?

Он медленно положил отвёртку на стол.

— Охотник, — сказал он. — Тот, кто охотится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.